

"Из тех, кто помнил мой город..."

* * *

Вы, конечно, правы, Андрюша, — второй крестовый поход, в сущности, был обречен еще до его начала. Дело вовсе не в тупости возглавлявших его господ, и не в том, что стратегия или тактика подкачала. Все куда серьезней. Когда вы ведете взгляд по рядам готовых сражаться за освобождение Гроба Господня, вы должны выбирать себе хороших солдат. То есть именно тех, кого ждет преисподня. Тех, кто, глядя на крест, узнает рукоять меча, кто в бою не срежет с убитого ни золотых, ни медных побрякушек, лишь краем глаза их отличает, чтоб не сдохнуть на месте среди полчищ жадных и бедных. Тех, кто лепит на рану смесь плесени и земли, кто милосердно втыкает нож в горло побратимам неисцелимым, а уж если покажется, наконец-то, город вдали, чем бы он трижды ни был — он будет Иерусалимом. Крестовый поход праведников закончится в первом бою, даже если их, праведных, удалось бы собрать для похода, даже если их убедили бы оставить семью, даже если их оторвали бы от любимого огорода... Что с них, Господи, толку? Какой от них, к дьяволу, прок? Разве что вклад в развитие медицины. Так что если уж нужно вести солдат на восток, отбирать следует тех, от кого побегут сарацины. И тогда выясняется, что не получится ни черта даже с самым лучшим войском. Ничего, кроме сущего вздора. Какой же Господь допустит, чтобы святые места освобождали убийцы, насильники и мародеры? Невозможность, Андрюша, добру оставаться добром, заставляет надеяться, что зло еще превратится в благо, что когда утихнут пожар, бесчинство, погром, из них образуются мужество, благородство, отвага. Все придут на молебен. Черные губы солдат будут двигаться в лад с молитвенным ритмом — таков обычай.

Что ж это был за город?.. Молебен, затем парад,
а уж после парада справедливый дележ добычи.

* * *

Нам досталась такая страна,
что она и беда, и вина,
лет по триста любим разговорам,
да и птице, видать, не впервой
убеждать вологодский конвой:
— Я не мельник, я — ворон.

Эту землю как книгу из книг
сочинял не монах, но ледник,
русла завтрашних рек нацарапав,
валунами утыкав гряды
вдоль пути в Золотую Орду
от Хвалынска и вниз — на Саратов.

На широтах тюрьмы и сумы
государство страшнее зимы,
все столичные бунты — гусарство.
Но как грянет пурга по земле,
эти несколько дней в феврале —
пострашней государства.

Нам досталась такая страна,
где наивно рассчитывать на
правоту и рассудок,
здесь легко голодать-холодать,
но когда низойдет благодать,
здесь не выжить и суток.

Соплеменник, изменник, беглец,
ты не мельник, и я не кузнец,
что ж нам снятся под пальмами юга
тьма да выюга, да снежный завал,
что мороз намолол и сковал
близ Полярного круга.

* * *

Ливни и грозы соответствуют мартовским идам
(если гонять родной календарь по чужим орбитам),
что объясняется близостью Антарктиды
к этим краям, позаброшенным и позабытым.
Ибо, достигнув известных пределов, айсберги тают,
гибельны теплые воды белым громадам.
Айсберги тают, и испаряются, и улетают,
и через тысячу верст выпадают градом.
Мятые крыши автомобилей заморской марки,
сбитые наземь телеантенны и апельсины.
Так испаряешься и погибаешь в марте,
в мокрой траве — холодный, маленький, синий.
Айсбергам трудно в начале марта, как и тиранам,
не заходить далеко за пределы боли.
Мы не Титаники, нам не идти тараном
в южных морях, а уж в северных и тем боле.

* * *

Мы убыли, мы выбыли —
какая благодать!
Ни убыли, ни прибыли
уже не угадать.

Мы ухнули как с горочки
в отвал, в провал, во тьму,
и терочки-разборочки
нам ваши ни к чему.

В другие полушария
мы вышли из игры
в коллекции, в гербарии,
на кончике иглы.

По низкой траектории
мы вышли из пике
в неведомой истории
на странном языке.

И лишь одно созвездие
из памяти живой
как позднее возмездие
висит над головой.

* * *

Ночь не спросит, утро не ответит.
Ветер провожал нас — ветер встретит.
Жемчуг мелок, да и супчик редок.
Улыбнись подруге напоследок.

Улыбнись подруге, ей досталась
кочевая поздняя усталость,
с моря тянет ветром незнакомым,
ветер пахнет дымом, а не домом.

В две руки — природа и свобода —
мастерски стасована колода.
Там в колоде обещаний много,
а сбылась лишь дальняя дорога.

Поклонись дороге — ты свободен.
Нет на свете ни одной из родин.
А уж от чужбины до чужбины —
что тебе и пальмы и рябины?

* * *

Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один,
а было людей в моем городе, словно в банке сардин,
теперь они где попало — в раю и в чужом краю.
Наверное, плавают в масле. И я черт те где стою.
Будущее на лысынах предписано дуракам —
посредине пустыня, заросли по бокам.
Дымный ветер гуляет в чахлах пучках седин.
Из тех, кто помнил мой город, я остался один.
Никто не знает, что строит, тем паче граф Воронцов,
воткнувший в татарский берег тьму пионерских дворцов,
где будущие поэтессы, хитрюги себе на уме,

нетерпеливых поэтов отгалкивают во тьме.
Купеческое барокко, левантийская грязь и спесь,
но каолин и сера — это опасная смесь.
И берег сползает в воду с хрустом арктических льдин.
Из тех, кто помнил мой город, остался лишь я один.
Его больше нет над морем, он сгинул вместе со мной,
а когда-то в его колоннадах качался июльский зной,
и все дрожало и плыло, предсказывая пейзаж,
где сам ты лишь очертанье, жажда, жара, мираж...
Отсутствующий виновен. Отрезанное болит.
Прошлое в настоящее врезается как болид,
и тогда сдвигаются плиты, и в дыру посреди миров
летят бульвары и скверы, фонтаны бедных дворов.
Паутиной прибрежных тропок, колеблемой зыбью мостов,
мой всплывающий город прошепчет мне — будь готов.
Давно готов, — я отвечу на тихий призыв его.
Из тех, кто помнил мой город, больше нет никого.

Сидней

